

Антокольский П. Чехов – поэт // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1944. 20 августа. № 11803. С. 8.



ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО

Чехов-поэт

Две молодые женщины втихомолку поздно ночью делятся впечатлениями о человеке, которого одна из них любит. Он для нее загадка. И тогда вторая пытается разгадать загадку:

— Милая моя, пойми, это талант? Смелость, свободная голова, широкий размах... Посадит деревце и уже загадывает, что будет от того дерева через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества.

Влюбленный шопот этих чеховских героинь найдет сердечный отклик у любого читателя, едва только он задаст себе вопрос, за что он полюбил Чехова, чем ему дорог этот сложный, неожиданный свидетель чужих существования.

Как ни приземиста проза жизни, населяющая произведения Чехова, с каким реализмом ни рисовал он скуку и мерзость, — кажется, довольно легчайшего дуновения ветра, чтобы трехмерная видимость отступила куда-то на второй или на третий план, и вот уже перед нашими глазами только наспех сколоченная крохотная сцена летнего театра, а за нею сказочное луноное озеро и лирическая героиня; это не просто уездная барышня в легких туфельках и белом платье, а сама Душа Мира, и где-то в тучах проносятся Черный Монах и, раставаясь с любимым, заброшенная в глуши провинции, одна из сестер, закинув голову, кричит улетающим журавлям:

— Милые мои!

Этот удивительный мир создан самым сложным и тонким из русских писателей. И грешно думать, что сам Чехов легко подойдет под любое однолинейное толкование. Не одно еще десятилетие критикам придется ломать себе головы над всякими «сумерками», «безвременьем», «символизмом» и прочим, так же похожим на Чехова, как цветы, отштампованные на обоях, похожи на полевые цветы.

«Смелость, свободная голова, широкий размах» — вот что такое Чехов!

Однажды Гоголь горестно посетовал: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из грязи, из отдаленных закоулков государства?» Гений Гоголя видел прежде всего «несовершенство жизни», — поэтому и не был дописан им второй том «Мертвых душ», начинающийся только что цитированными строками. Но «несовершенство жизни», окружавшее Чехова, едва ли менее оскорбительно, чем у Гоголя. Те же дураки, те же жулики и держиморды, может быть, в других чинах; те же подлипали, то же всеуездное, всегубернское хамье. Но как ни зорек, ни острее Чехов, проза жизни не согнула его плеч, не затуманила его ясной улыбки.

Какая сила пронесла писателя над темными и грустными десятилетиями дореволюционной жизни и так вплотную придвинула к нам? Много раз писали о том, как любят чеховские герои мечтать о будущем счастливом человечестве, о будущем государственном строе, основанном на взаимном уважении и всеобщем труде. Писали об этом и справедливо видели здесь прямую заявку писателя на право входа к нам, в наши рабочие клубы или дворцы культуры.

Но это только половина правды о Чехове. С такой же выстраданной силой чеховские герои говорят и думают о прошлом. Казалось бы, думы о прошлом диаметрально противоположны мечтам о будущем. Но я недаром сталкиваю эти противоположности. Точка их соприкосновения — в чувстве истории, в чувстве непрерывного становления, касающегося любой отдельной жизни, если это жизнь гражда-

нина и патриота, а не обывателя-муравья.

В темную весеннюю ночь на страстной неделе студент духовной семинарии рассказывает случайным слушателям, бедным деревенским женщинам, кусок евангельской легенды, эпизод о предательстве апостола Петра. И студент спрашивает себя: откуда такое внимание и сочувствие у женщин, почему они плачут, слушая бесхитростную речь? «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». И перед юношей еле брезжит значение его догадки: «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...»

Учитель гимназии, москвич-либерал, мечтает написать историческую пьесу. «Он дремал, покачивался, и все думал о пьесе. Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые ином и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом и так ясно, что можно различить каждую елочку, какие то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровые, как зарево на небе. Это половцы, — думает Ярцев. — Один из них — старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный — призывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно...»

Чехов был не первым и не последним из русских людей, которые с удивлением всматривались в цветное, движущееся видение, встающее перед нами из далекой дали времени. Удивление само по себе сродни творчеству, во всяком случае, является его первой предпосылкой. То, о чем мечтал чеховский герой, сделали за него в русской культуре Бородин, Васнецов, Блок, и мы без конца повторяем, относя это к разным временам своего существования, а том числе и к сегодняшнему историческому часу:

И вечный бой. Покой нам
только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная
кобылица

И мнет ковыль.

Говоря об историзме Чехова, я вовсе не хочу выдать этот историзм за основную его черту, — каждый говорит о прекрасном писателе, как может и должен, — но для характеристики широты его мирозерцания историзм Чехова имеет превостепенное значение. Как уже сказано, он делал писателя свидетелем и участником огромного народного потока, теряющегося в прошлых веках и обращенного в будущее. В лучшие свои минуты чеховские герои вспоминают об этой связи времен, и тогда из темной, неуютной, неприглядной своей эпохи они протягивают руки к нам.

А сам Чехов — такой писатель, что о нем спорят и еще долго будут спорить люди самых разнообразных толков и наклонностей. Он начинал как бесхитростный юморист, и, думается, нет ни одного юмориста ни у нас, ни на Западе (включая сюда и Чаплина), который не поклонился бы Чехову до земли за его сострадательный, светлый смех. Нет ни одного прозаика, на которого наши бойцы ворвались в районный центр Калининской области — Пушкинские горы и по широким выщербленным ступеням мо-

чащая с Горького, который так или иначе не был бы связан с чеховской интонацией, с его видением людей и природы, с его вольным повествованием. Нет ни одного драматурга, вплоть до Константина Симонова, в развитии которого новаторство Чехова не сыграло бы решающей роли.

Тоже самое можно сказать и о сценическом искусстве XX века. Кто знает, как сложилась бы судьба Художественного театра, не будь пьес Чехова! Кто знает, сколько потерял бы гений Станиславского, если бы перед ним не стояла задача: найти театральные и актерские силы, способные передать психологию чеховских героев.

Наконец, нет ни одного искреннего русского лирика, XX века, начиная с Блока, который не был бы обязан еще «на заре туманной юности» благодарностью этому удивительно человеческому сердцу!

Коротко сказать, Чехов — это широкое окно в мир правды и свободы. Оно навсегда останется открытым в нашем большом доме. Больше, чем к кому-нибудь из деятелей прошлого, применимо к Чехову светлое имя «предтеча».

Павел Антокольский.